



РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

*Татьяне Алексиной — Верному другу
и помощнику моему — посвящаю*

Слушание дела было назначено на двенадцать часов... А я прибежала к одиннадцати утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я. Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого камня. «Во всех его квартирах, — думала я, — живут и общаются люди, которых, вероятно, не за что судить... Но рассудить нужно многих. И вовремя, чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже, где возле двери на стекле с белесыми островками было написано: «Народный суд».

Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему приходится вынести, как едва ли не первую в истории медицины, а о смерти своей мыслит как о единственной в истории человечества. Суд, который был назначен на двенадцать часов, тоже казался мне первым судом на Земле. Однако за два часа до него началось слушание другого дела. В чем-то похожее. Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла: судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть близнецами.

Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я увидела судью, си-

девушу в претенциозно-высоком кресле. Ей было лет тридцать, и на лице ее не было величия человека, решающего судьбы других. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика, мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом... Хотя для меня она сама была человеком с пугающей должностью.

Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно. Неожиданно дверь распахнулась, и в коридор вывалилась молодая дебелая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной героиней всего происшедшего в зале. Женщина, ударив меня дверью, не заметила этого. Мелко дрожащими пальцами она вытаскивала сигарету, поломала несколько спичек, но наконец закурила, плотно закупорив собой вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью.

— Кого там судят? — спросила я.

Женщина мне не ответила.

— Мама, поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости, — донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе голос мужчины, выдавленного из тюбика.

Возникла пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он называл на «вы».

— Что там? — вновь обратилась я к женщине с воспаленным лицом.

Она опять меня не услышала.

На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто человек пенсионного возраста, не желающий уходить на «заслуженный отдых» и из последних сил молодящийся.

В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на «вы»: «Вы, маменька...» В этом не

было ничего противоестественного: у каждого времени своя мода на платья, прически и манеры общения. В деревнях, я знала, матерей называют так и поныне: там трудней расстаются с обычаями. Но в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и деликатность.

«По закону, по справедливости...» — похожие слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости: если все нормально, зачем об этом кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои...

На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся, казалось, в некий звукозаписывающий аппарат.

— Перерыв скоро будет, не знаете? — спросила я, поскольку в коридоре, кроме нее, никого не было.

Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне: «Не мешайте!» — словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить хоть одну ноту, хоть один такт.

«Наверняка должен скоро быть, — решила я. — И можно будет поговорить, посоветоваться...»

Всю ночь я репетировала свой разговор с судьей. Придумывала фразы, которые, я надеялась, услышав от меня, она запомнит и повторит во время судебного разбирательства.

Но беседа оттягивалась, и я, подобно студентке перед экзаменационной дверью, стала вновь как бы заучивать факты, аргументы и даты. Они незаметно вытянулись в ленту воспоминаний — не только моих собственных, но и чужих, которые при мне повторялись так часто, что тоже стали моими.

Я знала, что прежде существовали «родовые поместья», «родовые устои», «родовая знать»...

А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших меня врачей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей. Собственных впечатлений о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники. Прославиться можно разными способами!

Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им в глаза... Но не раз думала и о том, что вот так, от одного неловкого движения акушера зависит вся человеческая жизнь: Моцарт не станет Моцартом, а Суриков или Поленов не смогут держать кисть в руке, не подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные вроде меня будут приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае минутной ошибки выносит незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни причастен.

В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла ни малейшей склонности «к перемене мест».

На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.

«Первая и последняя!» — называл ее шестидесятилетний жених.

— Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, — впоследствии рассказывала мне бабушка. — Но между нами ничего не было.

— Совсем ничего? — цепко спросила я.

— Кажется, был... один поцелуй.

— Именно в семнадцать?

Бабушка кивнула.

— Синхронно! — воскликнула я. — У меня тоже в семнадцать...

— И я ничего не знала?!

— Сообщи я немедленно, этот запоздалый поцелуй показался бы землетрясением. А так, видишь... все живы-здоровы. Хотя мама, как говорится, оказалась непосредственной свидетельницей.

— Каким образом?

— Увидела из окна.

Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить. Только взглянет — и сразу готов диагноз: «Ты больна?», «Ты получила тройку?». Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно действующее средство: «Ничего страшного!»

Действительно, после того, что случилось со мной в изначальный миг моей жизни, ничто уже не могло выглядеть страшным.

Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился через сорок три года.

— В позднем браке есть свои преимущества: не хватит сил и времени на развод!

Мама отговаривала ее от «неверного шага».

— Это противоестественно! — восклицала она. — Природой для всего установлены свои сроки.

Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной окружающей нас среды.

— Но и от окружающей среды приходится охранять! — уверяла она бабушку. — Что ж получается? всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!

Это маму не устраивало: нянька нужна была ей самой. Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне.

И бабушка не пошла под венец.

— Правильно сделала! — сказала я, впервые услышав от нее эту историю. — В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти? Где он был раньше?

— Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж погиб, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.

— Почему же тогда...

— А ты? — перебила меня бабушка.

И больше я не задавала дурацких вопросов.

Бабушка была папиной мамой.

А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм и делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо спасти.

В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы: значит, и в то давнее время немного соображала. Но только чуть-чуть... И двигалась плохо, и говорила с трудом.

Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.

— Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу, — продолжал заклинять в зале судебного заседания длинный, худой сын. — Поэтому

я и пришел в суд. В наш, справедливый! Который по справедливости...

Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелая женщина.

«По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.

Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.

По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.

— Вот ты не веришь, что можешь научиться читать, — воспитывала меня бабушка. — А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.

— Все ночи?!

— Почти. Помогала им, как могла. Иногда удерживала, не отпускала.

— Куда?

— На тот свет... И заодно подрабатывала.

Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объяснила мне. Но отец однажды сказал:

— Чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался не хуже... Чтобы в театр ходил, в кино.

Бабушка хотела, чтобы и я была «не хуже других». Это стало ее основным желанием.

Она рассталась со своей больницей.

— Это подвиг — оставить любимое дело! — сказала мама.

— Я, конечно, привыкла... — ответила бабушка. — Но ничего страшного.

— Тем более что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.

Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.

Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили.

Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.

— Ничего страшного! — уверяла она. — Даже имя твое говорит об этом.

Меня зовут Верой.

Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра.

Мне трудно было ходить, а она просила:

— Сбегай-ка за газетой!

Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.

У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливыми туманными обещаниями, а просто убеждали, что «ничего страшного» не происходит.

Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания.

Я помню, что слова долго не вступали со мной в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естествен-



но, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.

Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.

Частенько к нам навевывался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.

Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был в сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах — то пестрых, то одноцветных, то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно, будто в магазинной витрине.

С годами я поняла, что людям свойственно подчеркивать в своей внешности то, что им выгодно подчеркивать, и скрывать то, что выгодно скрывать.

«Все хотят выглядеть красиво, — позже не раз думала я. — Одна из главных человеческих слабостей!»

Антону Александровичу выгодно было подчеркивать спортивность своей фигуры, и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя свитерами.

Заходил он только «по делу». Меня это настораживало. Хотя мне в ту пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше подходил научно-исследовательский институт, где они вместе работали, чем наша квартира в отсутствие папы. Появлялся же Антон Александрович чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков.

А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все понимала.

— Мы с вами люди самой модной профессии! — сообщил маме Антон Александрович.

Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома. Хотя бабушка ждала во дворе...

Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их. Но его шоколад я не ела: «Слишком какой-то сладкий!» А с его куклами не играла. Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.

Особенно он заботился о том, чтобы я дышала не-загрязненным воздухом нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось. Выслушав его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная погода», я усаживалась где-нибудь в угол и угрюмо молчала.

Он приписывал это моей крайней отсталости.

— Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские, например? — предлагал он. — В этой области, по части мозга, японцы добились ошеломляющих результатов!

В конце концов, полностью уверовав в мою не-смысленность, он решил объясниться маме в любви.

— Софья Васильевна... Сонечка! Загляните пристальней мне в глаза. Неужели вам ничего не ясно?

И тут я заорала... Я схватила маму за руку и потащила ее в другую комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.

— Она все поняла! Вы видите, Антон Александрович? Это уже не просто «некоторое улучшение», а бесспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое счастье! Какое огромное счастье!..

Этот «порог» спутал все планы Антона Александровича, и он, мрачно восхищаясь, покинул наш дом.

В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказала обо всем папе:

— Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Не напрямую, конечно. Полунамеками... Как джентльмен! Я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась. Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше ходить — она вникает в психологию человеческих отношений!

Мама, наверно, была права, поскольку это длинное — психология — начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.